



© Б. Школьник. Очерк «Мандельштам в Петербурге».
Ленинград, 1991 г.

© В. Шкурко. Оформление. Ленинград, 1991 г.

Я ВЕРНУЛСЯ В МОЙ
ГОРОД...

ПЕТЕРБУРГ МАНДЕЛШТАМА

*Фотографии
Петербурга
из коллекции
Н. П. Шмигга-Фогелевича*

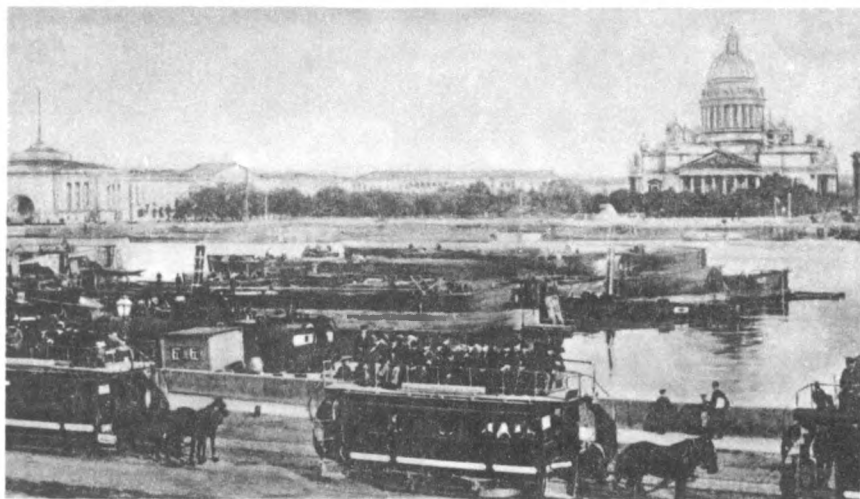


С

ТОВАРИЩЕСТВО «СВЕЧА» ЛЕНИНГРАД 1991



***Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?***



Николаевская набережная

Дев полуночных отвага
И безумных звезд разбег,
Да привяжется бродяга,
Вымогая на ночлег...

Кто, скажите, мне сознание
Виноградом замутит,
Если явь — Петра создание,
Медный всадник и гранит?

Слышу с крепости сигналы,
Замечаю, как тепло.
Выстрел пушечный в подвалы,
Вероятно, довесло.

И гораздо глубже бреда
Воспаленной головы
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы...

1913

В спокойных пригородах снег
Сгребают дворники лопатами;
Я с мужиками бородатыми
Иду, прохожий человек.

Мелькают женщины в платках,
И твякают дворняжки шалые;
И самоваров розы алые
Горят в трактирах и домах.

1913

Главный почтамт



АДМИРАЛТЕЙСТВО

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство;
Но создал пятую свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря,
И вот разорваны трех измерений узы,
И открываются всемирные моря!

1913

Адмиралтейство



На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг —
И распластался храм Господень,
Как легкий крестовик-паук.

А зодчий не был итальянец,
Но русский в Риме; ну так что ж!
Ты каждый раз, как иностранец,
Сквозь рощу портиков идешь;

И храма маленькое тело
Одушевленное стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле, беспомощный, прижат!

1914

Казанский собор





Ледоход на Неве

Заснула чернь. Зияет площадь аркой.
Луной облита бронзовая дверь.
Здесь арлекин вздыхал о славе яркой,
И Александра здесь замучил зверь.

Курантов бой и тени государей...
Россия, ты, на камне и крови,
Участвовать в своей железной каре
Хоть тяжестью меня благослови!

1913

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Императорский виссон
И моторов колесницы —
В черном омуте столицы
Столпник-ангел вознесен.

В темной арке, как пловцы,
Исчезают пешеходы,
И на площади, как воды,
Глухо плещутся торцы.

Только там, где твердь светла,
Черно-желтый лоскут злится —
Словно в воздухе струится
Желчь двуглавого орла!

1915

Площадь Зимнего дворца





Панорама Петербурга

* * *

1

Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд.

2

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, —
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

1916



КАССАНДРЕ

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре торжественного бденья
Воспоминанья мучат нас.

И в декабре семнадцатого года
Все потеряли мы, любя;
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

Когда-нибудь в столице шалой
На скифском празднике, на берегу Невы —
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы.

Но, если эта жизнь — необходимость бреда
И корабельный лес — высокие дома, —
Я полюбил тебя, безрукая победа
И зачумленная зима.

На площади с броневиками
Я вижу человека — он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон.

Больная, тихая Кассандра,
Я больше не могу — зачем
Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем?

1917

СОЛОМИНКА

1

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью, — что может быть
печальней, —

На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей!

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина!
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не соломинка — Лигейя, умиранье, —
Я научился вам, блаженные слова.

2

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.

Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.

В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.
А та, соломинка — быть может, Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь!

1916



Николаевский мост. Английская набережная

На страшной высоте блуждающий огонь!
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь —
Твой брат, Петрополь, умирает!

На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда летает.
О, если ты звезда, — воды и неба брат —
Твой брат, Петрополь, умирает!

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет...
Зеленая звезда, — в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает...
О, если ты звезда, — Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает!

1918

* * *

Когда Психея-жизнь спускается к тням
В полупрозрачный лес вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

Навстречу беженке спешит толпа теней,
Товарку новую встречая причитаньем,
И руки слабые ломают перед ней
С недоумением и робким упованьем.

Кто держит зеркальце, кто баночку духов, —
Душа ведь женщина, ей нравятся безделки,
И лес безлиственный прозрачных голосов
Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.

И в нежной сутолке не зная, что начать,
Душа не узнает прозрачные дубравы,
Дохнет на зеркало и медлит передать
Лепешку медную с туманной переправы.

1920

ЛАСТОЧКА

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветет,
Прозрачны гривы табуна ночного,
В сухой реке пустой челнок плывет,
Среди кузнечиков беспамятствует слово.

И медленно растет, как бы шатер иль храм,
То вдруг прокинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья.

А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Все не о том прозрачная твердит,
Все ласточка, подружка, Антигона...
А на губах, как черный лед, горит
Стигийского воспоминанье звона.

1920

* * *

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах» —
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.

Где-то глядки красные партера,
Пышно взбиты шифоньерки лож,
Заводная кукла офицера —
Не для черных душ и низменных святош...
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи
В черном бархате всемирной пустоты.
Все поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

1920

Павловский вокзал

КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛЕ

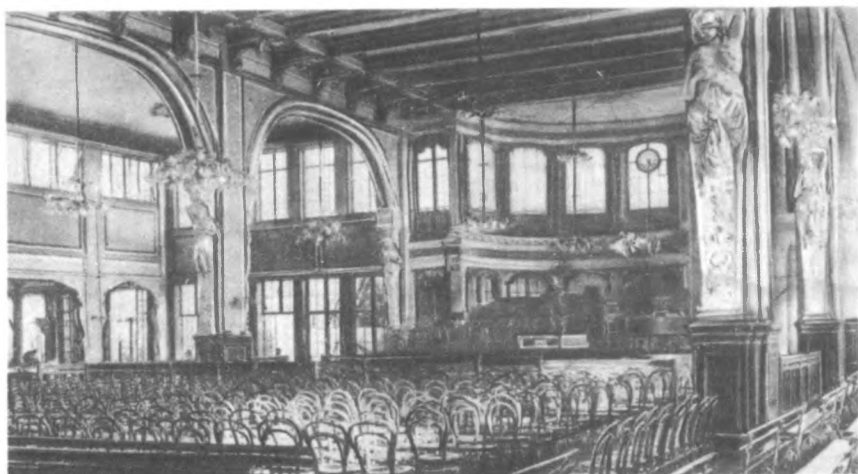
Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами,
Дрожит вокзал от пенья Аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

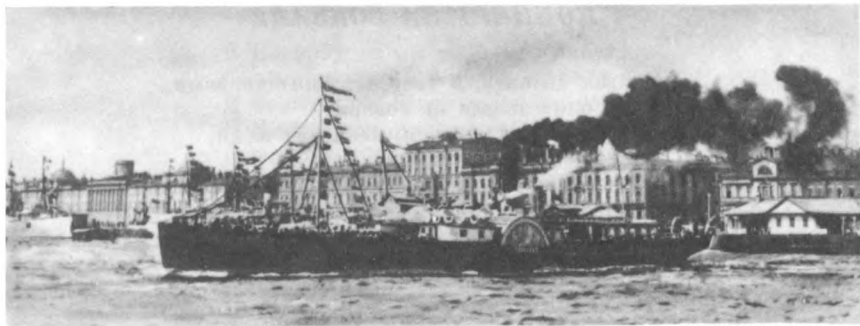
Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заморожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон:
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это — сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятеньи и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках —
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах...

И мнится мне: весь в музыке и пене,
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени.
Горячий пар зрачки смычков слепит.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит!

1921





Вид на набережную Невы

ЛЕНИНГРАД

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин;

Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

Январь 1931

Офицерская улица. Вид на Синагогу



С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья —
И ни крупницей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобию.

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невой под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нерешдам на Черное море,
И от красавиц тогдашних — от тех европейнок нежных —
Сколько я принял смущенья, насады и горя!

Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее —
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый!

Не потому ль, что я видел на детской картинке
Лэди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
Лэди Годива, прощай... Я не помню, Годива...

Январь 1931

Литовский замок





Вид на стрелку Васильевского острова

•
* * *

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

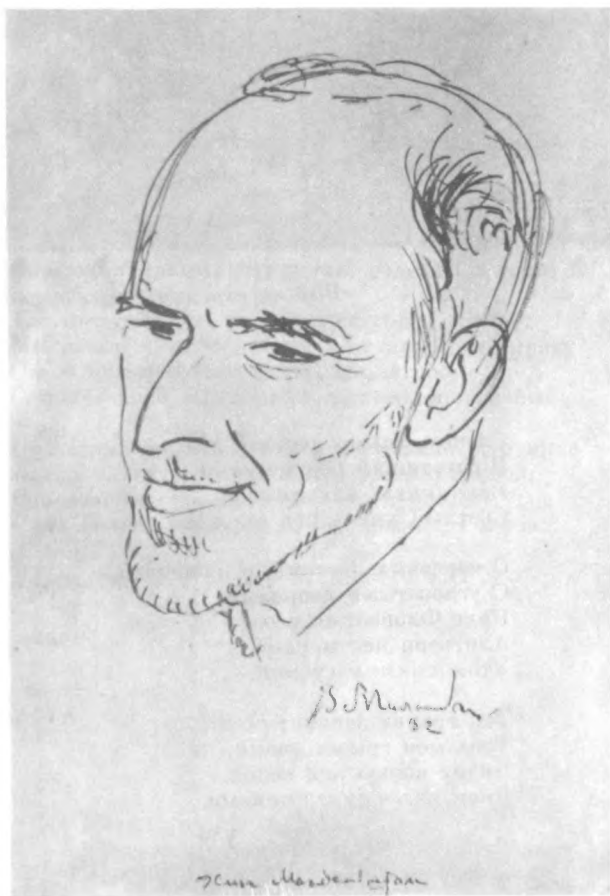
Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами,
Видит ночью ряд колод,
Днем казавшихся домами.

Или тень баклуши бьет
И позевывает с вами,

Иль шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,

И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей.

21—22 января 1937



О. Э. Мандельштам.
Рисунок В. Милашевского, 1932 год

Б. А. Школьник

МАНДЕЛЬШТАМ В ПЕТЕРБУРГЕ

«Я помню хорошо глухие годы России — девяностые годы, их медленное оползание... За утренним чаем разговоры о Дрейфусе... туманные споры о какой-то «Крейперовой сонате»... Керосиновые лампы переделывались на электрические. По петербургским улицам все еще бегали и спотыкались донкихотовые коночные клячи. По Гороховой до Александровского сада ходила «каретка» — самый древний вид петербургского общественного экипажа; только по Невскому, гремя звонками, носились новые курьерские конки на крупных и сытых конях». ¹

Вы, с квадратными окошками
Невысокие дома, —
Здравствуй, здравствуй, петербургская
Несуровая зима.

И торчат, как шуки, ребрами
Незамерашие катки,
И еще в прихожих слепеньких
Валяются коньки.

А давно ли по каналу плыл
С красным обжигом гончар,
Продавал с гранитной лесенки
Добросовестный товар?

Ходят боты, ходят серые
У Гостиного двора,
И сама собой сдирается
С мандаринов кожура;

И в мешочке кофий жареный,
Прямо с холоду — домой:
Электрической мельницей
Смолот мокро золотой.

Шоколадные, кирпичные,
Невысокие дома, —
Здравствуй, здравствуй, петербургская
Несуровая зима!

¹ О. Мандельштам. Шум времени. Л., Время, 1925.
Далее цитаты из этой книги даются без ссылок.

Осип Эмильевич Мандельштам родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве в семье мелкого коммерсанта. Отец его, Эмилий Вениаминович, потомок испанских евреев, выросший в патриархальной семье, самоучкой постигал европейскую культуру — Гете, Шиллера, Шекспира. Мать, Флора Осиповна, в девичестве Вербловская, любила Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского.

Мандельштамы хотят дать детям настоящее образование, и вскоре семья перебирается в Павловск близ Петербурга, а затем в Петербург, в Коломну — старинный район ремесленников и разночинцев, с узкими каналами, торговыми рядами, лавочками, соборами и мостами...

«Мы часто переезжали с квартиры на квартиру, жили и в Максимилиановском переулке, где в конце стреловидного Вознесенского виднелся скачущий Николай, и на Офицерской, поблизости от «Жизни за царя», над цветочным магазином Эйлерса». Последний из этих адресов — Офицерская, 17, угол Прачешного переулка. Мандельштамы снимали квартиру во втором этаже.

В «Шуме времени» мы находим первые детские впечатления Коломны. «Мы ходили гулять по Большой Морской в пустынной ее части, где красная лютеранская кирка и торцовая набережная Мойки. Так незаметно подходили мы к Крюкову каналу, голландскому Петербургу эллингов и непутовых арок с морскими эмблемами, к казармам гвардейского экипажа».

В этом районе располагались учреждения военного и морского ведомств — интендантские склады, флотский экипаж, Ново-Адмиралтейская судовой верфь. «Помню спуск броненосца «Ослябя», как чудовищная морская гусеница выползла на воду, и подъемные краны, и ребра эллинга».

Река Мойка



За Мойкой начиналась аристократическая Адмиралтейская часть. «Весь массив Петербурга, гранитные и торцовые кварталы, все это нежное сердце города, с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, карнизами Эрмитажа, таинственной Миллионной, где не было никогда прохожих и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку Главного штаба, Сенатскую площадь и голландский Петербург я считал чем-то священным и праздничным... Я бредил конногвардейскими латами и римскими шлемами кавалергардов, серебряными трубами Преображенского оркестра, и после майского парада любимым моим удовольствием был конногвардейский праздник на Благовещенье... Обычная жизнь города была бедна и однообразна. Ежедневно часам к пяти происходило гулянье на Большой Морской — от Гореховой до арки Генерального штаба. Все, что было в городе праздного и вылощенного, медленно двигалось туда и обратно по тротуарам, расклинаясь: звяк шпор, французская и английская речь, живая выставка английского магазина и жокей-клуба. Сюда же бонны и гувернантки... приводили детей: вздохнуть и сравнить с Елисейскими полями». На занятия музыкой маленького Осипа водили к Покрову. «Мне ставили руку по системе Лешетицкого», — замечает он.

* * *

В 1900 году Осип поступает в Тенишевское училище, а семья переезжает на Литейный проспект. С сентября 1900 года училище располагалось на Моховой в здании, построенном на средства князя Тенишева.

Вячеслав Николаевич Тенишев, получивший техническое образование

Гвардейский экипаж



в Швейцарии, был разносторонне одаренным человеком и удачливым предпринимателем. Составив крупное состояние, он ликвидировал дела и обратился к научным занятиям. Основанное им Этнографическое бюро выпустило несколько книг о жизни и быте крестьян великорусских губерний.

Училище располагало прекрасными лабораториями, обсерваторией, оранжереей, мастерской, двумя библиотеками, издавался свой журнал, изучались немецкий и французский языки. Ежедневно проводились физические занятия и игры на воздухе. В училище не было наказаний, оценок и экзаменов. Учебникам предпочитались наглядные методы преподавания. Было много экскурсий: Путиловский завод, Горный институт, Ботанический сад, озеро Селигер с посещением Иверского монастыря, на Белое море, в Крым, в Финляндию (Сенат, Сейм, музеи, водопад Иматра).

*Лютеранская церковь Св. Иоанна
на Офицерской улице*



Образцовому устройству училища вполне соответствовал и состав педагогов. Первым директором был прославленный педагог А. Я. Острогорский, русскую словесность преподавал В. В. Гиппиус — поэт, автор стихотворных книг и исследований о Пушкине. «Интеллигент строит храм литературы с неподвижными истуканами... В. В. учил строить литературу не как храм, а как род. В литературе он ценил патриархальное отцовское начало культуры». Эта первая встреча с великой литературой оказалась для Мандельштама «непоправимой». Через двадцать лет он напишет: «Власть оценок В. В. длится надо мной и посеячас. Большое, с ним совершенное, путешествие по патриархату русской литературы ...так и осталось единственным». Гиппиус был и первым критиком стихов юного Мандельштама, печатавшихся в журнале училища.

За окнами Тенишевского училища бушевала первая русская революция, и отзвуки ее страстей доносились в классы. В большой аудитории училища часто устраивались публичные лекции, собрания Литературного фонда, заседания Юридического общества, «где с тихим шипением разливался конституционный яд». Амфитеатр большой аудитории «в большие дни брался с бою, и вся Моховая кипела, наводненная полицией и интеллигентской толпой... Вот в соседстве с таким домашним форумом воспитывались мы...».

Вспоминая о своих однокашниках, Мандельштам пишет: «А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре». Среди сверстников Мандельштам выделяет Бориса Синани, сына известного петербургского психиатра Бориса Наумовича Синани. Борис Наумович был близок с видными народниками, дружил с Глебом Успенским и Н. К. Михайловским. В доме Синани на Пушкинской собиравалась молодежь, кипели политические дискуссии. «Мне было смутно и беспокойно. Все волнение века передавалось мне. Кругом перебегали странные токи... Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары». В доме на Пушкинской Мандельштам мог наблюдать решительных молодых людей — членов боевых организаций социал-революционеров, и когда он пишет о Борисе Синани, что тот «глубоко понимал сущность эсерства и внутренне еще мальчиком его перерос», то можно понять, что тогда же складывалось и его собственное неприятие политического радикализма. В эту пору Мандельштам читает Герцена и Блока, смотрит Ибсена у Комиссаржевской, посещает концерты в Дворянском собрании и, конечно, пишет стихи.

* * *

В первые годы после окончания Тенишевского Мандельштам много времени проводит за границей, посещает Францию, Италию. В письме В. В. Гиппиусу из Парижа 27 апреля 1908 года он пишет: «Живу я здесь очень одиноко и не занимаюсь почти ничем, кроме поэзии и музыки. Кроме Верлена, я написал о Роденбахе и Сологубе и собираюсь писать о Гамсуне. Затем немного прозы и стихов. Лето я собираюсь провести в Италии, а вернувшись, поступить в университет и систематически изучать литературу и философию.»¹ В 1909—1910 гг. Мандельштам занимается филосо-

¹ О. Мандельштам. Собрание сочинений в 3 томах, т. 2, Нью-Йорк, УМСА — PRESS, 1971.

фией и филологией в Гейдельбергском университете. В Петербурге он посещает собрания Религиозно-философского общества, членами которого были виднейшие мыслители и литераторы Н. Бердяев, Д. Мережковский, Д. Философов, Вяч. Иванов.

В эти годы Мандельштам сближается с петербургской литературной средой. В 1909 году он впервые появляется у Вячеслава Иванова на Таврической. Квартира Иванова помещалась в круглой башенной надстройке. На «Башне» собирались поэты, артисты, художники, ученые. Бывали Блок, Белый, Сологуб, Ремизов, Кузмин. Читали и обсуждали стихи. Иннокентий Федорович Анненский, Вячеслав Иванов и Андрей Белый читали лекции для молодых поэтов.

На «Башне» Мандельштам впервые встретился с Ахматовой. «Тогда он был худощавым мальчиком с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами в полщеки», — пишет Ахматова. Дружба этих двух поэтов была едва ли не самым большим подарком судьбы им обоим.

На фоне уже ясно обозначившегося кризиса символизма происходили поиски новых путей поэзии. Центром консолидации нового художественного течения стал журнал «Аполлон». «Наступает эпоха устремлений... к новой правде, к глубоко-сознательному и стройному творчеству: от разрозненных опытов — к закономерному мастерству, от расплывчатых эффектов — к стилю. Только строгое искание красоты, только свободное, стройное и ясное, только сильное и жизненное искусство за пределами болезненного распада духа и лженоваторства». Так писал Анненский во вступительной статье к первому номеру журнала. Это была программа нового направления, означавшая разрыв с символизмом. Статьи

Базар на Покровской площади



Анненского и его небывалая поэзия оказали сильное влияние на молодых поэтов. Мандельштам и Ахматова называли его своим учителем.

В «Аполлоне» печатались А. Бенуа, Вс. Мейерхольд, Вяч. Иванов, М. Волошин, «Письма о русской поэзии» Н. Гумилева, стихи Анненского, Гумилева, Кузмина. Журнал иллюстрировали Бакст, Добужинский, Митрохин. В помещении редакции устраивались выставки нового искусства: женские портреты Бакста, Кустодиева, Л. Пастернака, Серова, Сомова, графика Боннара, Гогена, Пикассо, Ренуара, Сезанна, Тулуз-Лотрека. В редакции «Аполлона» собирались авторы журнала, там нередко бывал Мандельштам.

В августе 1910 года состоялся литературный дебют Мандельштама: в девятом номере «Аполлона» были напечатаны пять его стихотворений, в том числе «Silentium»:

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

Тенишевское училище. Мозовая улица



В русской поэзии зазвучал новый голос:

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть —
Узора милого не зачеркнуть!

* * *

В 1911 году оформляется объединение «Цех поэтов». В него вошли Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Лозинский, Зенкевич. «Цех» собирался три раза в месяц. На первом собрании был Блок. Собирались у Лизы Кузьминой-Караваевой на Манежной площади, в Царском Селе на Малой улице у Гумилевых, у Лозинского на Васильевском острове, у Бруни в Академии художеств. На заседаниях читали и разбирали стихи. Гумилев требовал развернутых выступлений «с придаточными предложениями». Новых членов «Цеха» выбирали тайным голосованием после прослушивания их стихов. По свидетельству Ахматовой, в «Цехе поэтов» Мандельштам «очень скоро стал первой скрипкой». Ахматова говорила после одного из собраний: «Сидят человек десять-двенадцать, читают стихи, то хорошие, то заурядные, внимание рассеивается, слушаешь по обязанности, и вдруг будто лебедь взлетает над всеми — читает Осип Эмильевич!»¹

В жизни «Цеха» было много от литературной игры, сочиняли эпиграммы, пародии, «Антологию античной глупости», «щедрым сотрудником» которой был Мандельштам.

Делия, где ты была? — Я лежала в объятьях Морфея.
Женщина, ты солгала, в них я покоился сам.

Пример неподражаемой самоиронии Мандельштама являет его письмо Вячеславу Иванову, где упоминается его новый знакомый, секретарь Религиозно-философского общества Каблуков.²

Дорогой Вячеслав Иванович!

С. П. Каблуков есть лицо не заслуживающее доверия, и все, что он клеветал — ложь, и та строчка из моего стихотворения, которую он цитировал в своем письме к вам, читается без «в»:

Неудержимо падай
Таинственный фонтан,

а не «в таинственный», как он утверждает; а если я в бытность мою в Париже упал в Люксембургский фонтан, читая Мэтерлинка, — то это мое дело.

И. Мандельштам.

¹ Г. Адамович. Несколько слов о Мандельштаме // Воздушные пути, альм. 11, 1961, с. 87—101.

² ГПБ, ф. 322, ед. хр. 11, С. П. Каблуков.

Ахматова вспоминает, как Мандельштам приходил к ней на Васильевский остров в Тучков переулок: «смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на «Тучке» и хохотали до обморочного состояния...»

«Цех поэтов» не был однородным объединением, состав его менялся



И. Ф. Анненский. 900-е годы

довольно сильно. Но в нем сформировалась группа талантливых поэтов — единомышленников, которые выработали эстетическую программу, названную ими акмеизмом. Ядро акмеистов составляли Гумилев, Ахматова, Мандельштам. «Несомненно, символизм явление 19 века, — писала Ахматова. — Наш бунт против символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми 20 века и не хотели оставаться в преды-

душем». Мандельштам говорил, что «акмеизм это тоска по мировой культуре», что для акмеизма характерна «мужественная воля к поэзии и поэтике, в центре которой стоит человек, не сплюснутый в лепешку лжесимволическими ужасами, а как хозяин у себя дома. Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен стать тверже, так как человек должен быть тверже всего на земле». И далее: «...Акмеизм не только литературное, но и общественное явление в русской истории. С ним вместе в русской поэзии возродилась нравственная сила. «Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья; и Господа и дьявола равно прославлю я», — сказал Брюсов. Это убогое «ничевочество» никогда не повторится в русской поэзии. Общест-



Н. С. Гумилев. Рисунок Н. Войтинской

венный пафос русской поэзии до сих пор поднимался только до «гражданина», но есть более высокое начало, чем «гражданин», — понятие «мужа». В отличие от старой гражданской поэзии, новая русская поэзия должна воспитывать не только гражданина, но и «мужа».¹

В 1911 году Мандельштам поступает на романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета. Он слушает лекции видных ученых А. Н. Веселовского, В. Р. Шишмарева, Д. Айналова, посещает пушкинский семинар С. А. Венгерова, под влиянием молодого ученого В. Шилейко увлекается культурой Ассирии, Египта, древнего Вавилона.

В 1913 году выходит первая книга Мандельштама «Камень». Этой книгой двадцатидвухлетний Мандельштам заявил себя зрелым поэтом:

¹ О. Мандельштам. Слово и культура. М., 1987, с. 262.

в ней нет вещей, нуждающихся в скидке на возраст автора. Давно уже стали классикой стихи из «Камня»: «Дано мне тело — что мне делать с ним», *Silentium*, «Сегодня дурной день», «Я ненавижу свет однообразных звезд». Почти одновременно с выходом «Камня» в журнале акмеистов «Гиперборей» были напечатаны «Петербургские строфы». Петербургская тема в русской поэзии неотделима от имени Пушкина, и здесь необходимо сказать о пушкинском влиянии на Мандельштама. Ахматова пишет, что «к Пушкину у Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение». Как русский поэт, тем более, как поэт петербургский, Мандельштам не мог не испытывать мощного силового поля пушкинской поэзии. Однако «грозное отношение» и особое целомудрие, запрещавшее ему упоминать имя Пушкина «всуе» (оно лишь дважды упомянуто в стихах Мандельштама)¹, связаны также и с биографическими причинами. Детство Мандельштама прошло в Коломне, где была первая петербургская квартира Пушкина после Лицея. Здесь молодой Пушкин бывал у Никиты Всеволожского на заседаниях «Зеленой лампы», в Большом театре, в церкви Покрова, упомянутой им в поэме «Домик в Коломне». Тенишевское училище с его гуманистической системой воспитания, с незаурядными педагогами и поэтическими вечерами было для Мандельштама в большей степени тем, чем был Лицей для Пушкина, здесь он впервые почувствовал себя поэтом. С детства ему, жителю Павловска, было близко и Царское Село, позже он бывал в Царском у Гумилева и Ахматовой. Параллели мы находим и в раннем осознании своего таланта, и в единодушном признании его первенства друзьями-поэтами, и в прирожденном остроумии. Современники отмечали даже внешнее сходство молодого Мандельштама с Пушкиным². В стихах и прозе Мандельштама встречается множество свидетельств глубокого постижения поэзии Пушкина и его судьбы. Лишь учитывая все это, можно представить, что значила для него петербургская тема.

Необходимо также принять во внимание, что искусство десятых годов заново открывало Петербург. Достаточно вспомнить графику Добужинского и Бенуа, стихи Блока, роман Белого.

Эти художники, каждый по-своему, творили миф о Петербурге. И вот, рядом со «страшным миром» Блока («Ночь, улица, фонарь, аптека»), «Петербургом» Белого, с трагическими видениями Добужинского, возникают неторопливые строфы Мандельштама:

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припекке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна — как броненосец в доке —
Россия отдыхает тяжело.

¹ П. Нерлер. Осип Мандельштам — читатель Пушкина // Литературная учеба, 1987, № 3, с. 141.

² А. Цветаева. Осип Мандельштам и его брат Александр // Даугава, 1980, № 7, с. 71.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства крепкая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка...

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

Спокойный стих «Петербургских строф» как будто порожден самой архитектурой классицизма. В тягучих строках предстает простор невольской дельты, протяженность парадных ансамблей. Современный язык, насыщенность деталями создают ощущение свежести классического стиха.

Здесь изображен реальный пейзаж: Сенатская площадь, Дворцовая набережная, Пеньковский буян. Однако это не просто рисунок с натуры. Пейзаж заряжен историей. Связывая прошлое с настоящим, он несет ясное ощущение конца эпохи.

Тема дряхлеющего государства, доживающего век на покое, возникает в «Петербургских строфах» не впервые. Годом раньше в стихотворении «Царское Село» Мандельштам писал:

...однодумы-генералы
Свой коротают век усталый,
Читая «Ниву» и Дюма...

И возвращается домой —
Конечно, в царство этикета,
Внушая тайный страх, карета
С мощами фрейлины седой —
Что возвращается домой...

Но в «Петербургских строфах» покой неустойчив; «площадь Сената» и «броненосец в доке» несут предчувствие социальных потрясений и мировой войны. Это небольшое стихотворение обладает поразительной смысловой емкостью. Здесь и историческая роль Петербурга — окна в Европу («Над Невой посольства полумира»), и запоздалое промышленное развитие: единственной примете нового времени, «моторам», противостоят сани, склад пеньки, мужики, торгующие сайками и сбитнем, и сонный покой правительственных зданий в снежной мути. Здесь и отзвук

восстания на Сенатской площади, неудача которого откликается в тоске Онегина, и драма маленького человека («чудак Евгений»). Перед нами огромная сцена, медленно вращающаяся вокруг незаванного Медного всадника.



*А. А. Ахматова. 1920-е годы.
Фото М. С. Наппельбаума*

В том же 1913 году Мандельштам пишет еще одно стихотворение о Петербурге — «Адмиралтейство».

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Прославляя ремесло строителя, Мандельштам дает здесь ставшую хрестоматийной формулу красоты. Афористический стих воссоздает воздушные пропорции классической постройки, подобной кораблю, и ее особое положение в планировке левобережной части города, разбегающейся тремя лучами от «мачты-недотроги». В последней строфе явственен запах моря:

Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря —
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря!

В художественной жизни Петербурга десятых годов заметным явлением стало литературно-художественное кабаре «Бродячая собака». Владельцем и душой его был Борис Пронин, энтузиаст-театроман, успевший поработать и в МХТ, и в театре Комиссаржевской. «Бродячая собака» открылась под новый 1912 год в подвале дома на углу Итальянской улицы и Михайловской площади. Кабаре было задумано в рамках Общества интимного театра. В нем устраивались концерты, вечера поэзии, импровизированные спектакли, в оформлении которых художники стремились связать зал и сцену. Помещение «Бродячей собаки» расписывали С. Судейкин, В. Белкин, Н. Кульбин, А. Яковлев, Н. Сапунов, Б. Григорьев. Здесь бывали Хлебников, Маяковский, Мейерхольд, Таиров, во время ежегодных гастролей МХТ заходил Вахтангов.

Современники так описывают обстановку «Собаки»: «Окон в подвале не было. Две низкие комнаты расписаны яркими, пестрыми красками, сбоку буфет. Небольшая сцена, столики, скамьи, камин. Горят цветные фонарики. В подвале душно, накурено, но весело».

«Цех поэтов» облюбовал подвал с самого его возникновения. Уже 13 января 1912 года на вечере, посвященном Бальмонту, выступали Гумилев, Ахматова, Мандельштам, В. Гиппиус.

Акмеисты любили «Собаку». Там устраивались их поэтические вечера и диспуты, там рождались шутки и экспромты. К «Собаке» относятся ахматовские строки:

Да, я любила их, те сборища ночные, —
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофеом пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый, зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

С «Бродячей собакой» связано возникновение одного из лучших стихотворений Мандельштама. Вот что рассказывает Ахматова: «В январе 1914 г. Пронин устроил большой вечер «Бродячей собаки» не в подвале у себя, а в каком-то большом зале на Конюшенной. Обычные посетители терялись там среди множества «чужих» (т. е. чуждых всякому искусству) людей. Было жарко, людно, шумно и довольно.bestолокво. Нам это наконец надоело, и мы (человек 20—30) пошли в «Собаку» на Михайловской площади. Там было темно и прохладно. Я стояла на эстраде и с кем-то разговаривала. Несколько человек из зала стали просить меня почитать стихи.

Не меняя позы, я что-то прочла. Подошел Осип: «Как вы стояли, как вы читали» и еще что-то про «шаль». Так возникло «Вполоборота, о, печаль...»

Вполоборота, о, печаль!
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос — горький хмель —
Души расковывает недра:
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

* * *

В августе 1914-го взорвался европейский мир.

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних —
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

Война порождает резкую поляризацию общественного мнения. Первый после начала военных действий номер «Аполлона» (№ 6—7, 1914) открылся стихотворением издателя журнала Сергея Маковского «Война», предвещавшим триумф: «Соединит орел двуглавый народы братские окрест». Однако уже в этом выпуске «Аполлона» зазвучали пророческие строки Ахматовой: «Сроки страшные близятся. Скоро станет тесно от свежих могил».

На известие о бомбардировке немцами Реймского собора Мандельштам откликнулся стихотворением «Реймс и Кельн»:

И в грозный час, когда густеет мгла,
Немецкие поют колокола:
«Что сотворили вы над реймским братом?»

Затем он пишет «Оду миру во время войны» (в окончательном варианте «Зверинец»):

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран — эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать...

Он провидит будущий мир как интернациональную европейскую общность:

А я пою вино времен —
Источник речи италийской —
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лен!

В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей, —
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.

Размышления Мандельштама об историческом пути России были связаны с идеями Чаадаева и Герцена. В 1914 году в статье о Чаадаеве он писал: «С глубокой, неискоренимой потребностью единства, высшего исторического синтеза родился Чаадаев в России... У него хватило мужества сказать России в глаза страшную правду, — что она отрезана от всемирного единства, отлучена от истории, этого «воспитателя народов Богом». Дело в том, что понимание Чаадаевым истории исключает возможность всякого вступления на исторический путь. Мало одной готовности, мало доброго желания, чтобы «начать» историю. Ее вообще невозможно начать. Не хватает преемственности, единства. Единства не создать, не выдумать, ему не научиться. Где нет его, там в лучшем случае — «прогресс», а не история, механическое движение часовой стрелки, а не священная связь и смена событий». ¹ Разговор с Чаадаевым продолжается в статье «О природе слова»: «Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть что Россия принадлежит к неорганизованному, неисторическому кругу культурных явлений, упустил одно обстоятельство, — именно: язык. Столь высоко организованный, столь органический язык не только дверь в историю, но и сама история. Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. «Онемение» двух-трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти... Поэтому совершенно верно, что русская история идет по краешку... и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова.» ²

С началом войны в Петрограде стали устраивать вечера в пользу раненых. Вместе с Блоком, Ахматовой, Есениным Мандельштам выступает в Тенишевском и Петровском училищах. Его имя не раз встречается в газетных заметках об этих вечерах.

В декабре 1915 года Мандельштам выпускает второе издание «Камня», по объему почти втрое больше первого. Во второй «Камне» вошли такие шедевры, как «Вполоборота, о, печаль» («Ахматова»), «Бессоница. Гомер. Тугие паруса», «Я не увижу знаменитой Федры». Сборник включал и новые стихи о Петербурге: «Адмиралтейство», «На площадь выбежав, свободен» (Казанский собор) с подзаголовком «Памяти Воронихина», «Дев полуночных отвага», «В спокойных пригородах снег». Второй «Камень» получил значительно больше откликов, чем первый. «Это одна из тех редких книг, — писал критик «Одесских новостей», — значительность которых уже заранее надолго предопределяет их судьбу. Осип Мандельштам сохраняет своеобразие поэтического лица — в поэзии современной и прошлой у него нет двойников. Какие бы нити ни связывали Мандельштама

¹ О. Мандельштам. Слово и культура. М., 1987, с. 88.

² Там же, с. 60.

ма с акмеизмом, — а в более раннюю пору и с символизмом, — в целом его творчество минует всякие поэтические школы и влияния. В современности он хочет выявить ее сущность».

В начале 1916 года в Петроград приезжала Марина Цветаева. На литературном вечере она встретилась с петроградскими поэтами. С этого «нездешнего» вечера началась ее дружба с Мандельштамом. В своей прозе «История одного посвящения» она рассказывает, как Мандельштам приезжал к ней, и она дарила ему свою любимую Москву:

Из рук моих — нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.

От этих встреч остались знаменитые цветаевские строки «Откуда такая нежность», «Ты запрокидываешь голову», «Никто ничего не отнял»:

Я знаю: наш дар — неравен.
Мой голос впервые — тих.
Что вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

Нежней и бесповоротней
Никто не глядел вам вслед...
Целую вас — через сотни
Разъединяющих лет.

Мандельштам ответил ей стихами «На развалнях, уложенных соломой», «В разноголосице девического хора», «Не веря воскресенья чуду»:

Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

* * *

Российский корабль неумолимо двигался к октябрю семнадцатого года. С начала века страна жила ожиданием больших перемен. Реальность оказалась суровее всех предположений. Немногие сохранили тогда трезвость взгляда перед лицом грандиозных событий, и только Мандельштам ответил на вызов истории стихами ветхозаветной мощи:

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы, —
О, солнце, судия, народ!

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.

В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

Сведения о Мандельштаме в первые месяцы после октября 1917 г. мы находим у Ахматовой: «Особенно часто я встречалась с Мандельштамом в 1917—18 годах, когда жила на Выборгской у Срезневских (Боткинская, 9)... в квартире старшего врача Вячеслава Срезневского, мужа моей подруги Валерии Сергеевны. Мандельштам часто заходил за мной, и мы ехали на извозчике по невероятным ухабам революционной зимы, среди знаменитых костров, которые горели чуть ли не до мая, слушая неизвестно откуда несущуюся ружейную трескотню. Так мы ездили на выступления в Академию художеств, где происходили вечера в пользу раненых и где мы оба несколько раз выступали. Был со мной О. Э. на концерте Бутомо-Назановой в консерватории, где она пела Шуберта. (см. «Нам пели Шуберта...»¹). К этому времени относятся все обращенные ко мне стихи: «Я не искал в цветущие мгновенья» (декабрь 1917 года), «Твое чудесное произношенья»; ко мне относится странное, отчасти сбывшееся предсказание:

Когда-нибудь в столице шалой
На диком празднике у берега Невы
Под звуки омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы...»

В начале весны 1918 года Мандельштам уезжает в Москву. По-видимому, последнее из написанных перед отъездом стихотворение «На страшной высоте блуждающий огонь»:

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает...
О, если ты звезда, — Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает!

Начинаются скитания Мандельштама по России: Москва, Киев, Феодосия...

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье —
Последний час вигилий городских...
Кто может знать при слове „расставанье”,
Какая нам разлука предстоит...

В 1919 г. в Киеве Мандельштам познакомился с двадцатилетней Надеждой Яковлевной Хазинной, которая стала его женой. Волны граждан-

¹ «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа»

ской войны прокатывались через Киев. Горожане потеряли счет сменам власти. Мандельштама тянуло на юг. Казалось, там можно пережить грозные времена.

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к переидам на Черное море...

После целого ряда приключений, побывав во врангелевской тюрьме, Мандельштам осенью 1920 г. возвращается в Петроград. Вот как выглядел город в то время, по воспоминаниям Ахматовой: «Все старые петербургские вывески были еще на своих местах, но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было. Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди... Город не просто изменился, а решительно превратился в свою противоположность».

Мандельштам поселился в «Доме искусств» — елисеевском особняке на Мойке, 59, превращенном в общежитие для писателей и художников.

В «Доме искусств» жили Гумилев, Шкловский, Ходасевич, Лозинский, Лунц, Зощенко, художник Добужинский, у которого собирались ветераны «Мира искусства».

«Жили мы в убогой роскоши Дома искусств, — пишет Мандельштам, — в Елисеевском доме, что выходит на Морскую, Невский и на Мойку, поэты, художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные... Это была суровая и прекрасная зима 20—21 года... Я любил этот Невский, пустой и черный, как бочка, оживляемый только глазастыми автомобилями и редкими, редкими прохожими, взятыми на учет ночной пустыней».¹

21 октября 1920 года Мандельштам впервые выступал в Клубе поэтов в доме Мурузи (Литейный, 24). Присутствовавший на вечере Блок отметил это выступление в своем дневнике, особо выделив «Венецию» («Венецйской жизни, мрачной и бесплодной»).

Недолгие месяцы пребывания Мандельштама в Петрограде в 1920—21 гг. оказались на редкость плодотворными. В эту пору им созданы такие жемчужины, как стихи, обращенные к актрисе Александринского театра Ольге Арбениной «Чуть мерцает призрачная сцена», «Возьми на радость из моих ладоней», «За то, что я руки твои не сумел удержать», летейские стихи «Когда Психея-жизнь спускается к теньям» и «Я слово позабыл».

Вот Петроград зимы 20—21 года:

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
(«В Петербурге мы сойдемся снова»)

В пустом, промерзшем и голодном городе Мандельштам создает одно из лучших любовных стихотворений. Оно как будто напечатлено горячим дыханием на заледеневшем стекле:

¹ О. Мандельштам. Слово и культура, с. 185.

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услышать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетов из улья.

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина — дремучий лес Тайгета,
Их пища — время, медуница, мята.

Возьми ж на радость дикий мой подарок —
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

Через много лет Арбенина напишет в письме художнику Милашевскому: «Теперь отвечу на твой вопрос о Мандельштаме. Мы с Мандельштамом очень весело болтали, и непонятно, почему получилась такая трагедия в стихах — теперь я с грустью понимаю его жизнь, и весело — наше короткое знакомство. Молодые поэты говорят о нем как о величайшем поэте эпохи... Я рада, что послужила темой для стихов... Могу еще добавить, что... он был добрый и хороший человек. Ты, я помню, называл его стихи холодными — а мне они кажутся горячими, как мало у кого.»¹

«Как воспоминание о пребывании Осипа в Петербурге в 1920 г., — пишет Ахматова, — кроме изумительных стихов к О. Арбениной, остались еще живые, выцветшие, как наполеоновские знамена, афиши того времени о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком».

* * *

В феврале 1921 года Мандельштамы уехали в Москву. Надежда Яковлевна так объясняет причины отъезда: «В Петербурге двадцатого года Мандельштам свое «мы» не нашел. Круг друзей поредел... Гумилева окружали новые и чужие люди... Старики из религиозно-философского общества тихо вымирали по своим углам...»

Лето и осень 1921 г. Мандельштамы провели в Грузии. Там их застало известие о гибели Гумилева. С этим связаны трагические стихи Мандельштама «Концерт на вокзале» («На тризне милой тени в последний раз нам музыка звучит») и «Умывался ночью на дворе». Последнее из этих стихотворений перекликается с ахматовским «Страх, во тьме перебирая вещи...». Мандельштам писал Анне Андреевне: «Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Нико-

¹ Письмо О. Н. Арбениной В. А. Милашевскому 6 апреля 1974 г. Архив В. А. Милашевского.

лаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется».

В 1922—23 годах у Мандельштама выходят три стихотворных сборника: «Tristia» (1922), «Вторая книга» (1923), «Камень» (3-е издание, 1923).



*О. Э. Мандельштам. 1930(?).
Фото М. С. Наппельбаума*

Его стихи и статьи печатаются в Петрограде, Москве, Берлине. В это время Мандельштам пишет ряд статей по важнейшим проблемам истории, культуры и гуманизма: «Слово и культура», «О природе слова», «Девятнадцатый век», «Пшеница человеческая», «Конец романа».

Едва ли не единственным критиком, оценившим эти полные глубоких мыслей работы Мандельштама, был князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский. В парижском журнале «Современные записки» он писал:

«Статьи Мандельштама разбросаны по журналам ... читатели которых весьма мало интересуются умом и историей. Читатели «Аполлона» не могли оценить, даже если и прочли, статью Мандельштама о Чаадаеве, напечатанную еще в 1915 г., и уже дающую почти полную меру его культурно-исторической зоркости. Как в некоторых стихах, так и в этих статьях — Мандельштама занимают ценности культурно-исторические... Судьбы русской культуры в XIX веке особенно интересуют Мандельштама. Он продолжает линию историко-философской мысли Герцена, Чаадаева, Григорьева... Связана его мысль и с Блоком, с которым его особенно роднит гениальная конкретность исторического воззрения, но полная свобода от символизма полагает резкую грань между ним и Блоком».¹

Летом 1924 г. Мандельштам приезжает в Ленинград. По-видимому, этот приезд был связан с издательскими делами. В этот раз он останавливался на ул. Герцена, 49. «Летом 1924 года Осип привел ко мне (Фонтанка, 2) свою молодую жену, — вспоминает Ахматова. — С этого дня началась моя дружба с Надюшей...» Издательские дела были связаны с предполагавшейся публикацией в новом журнале «Ленинград» записок Мандельштама. Записки вышли в марте 1925 г. отдельной книгой «Шум времени» в ленинградском издательстве «Время». По выражению Ахматовой, это был «Петербург, увиденный сияющими глазами пятилетнего ребенка».

В следующем году Мандельштам снова был в Ленинграде. «В 1925 году, — пишет Ахматова, — я жила с Мандельштамами в одном коридоре в пансионе Зайцева в Царском Селе. И Надя и я были тяжело больны, лежали, мерили температуру».

* * *

Большую часть 1930 года Мандельштамы провели в Армении. Результатом этой поездки явилась проза «Путешествие в Армению» и стихотворный цикл «Армения». Из Армении в конце 1930 года Мандельштамы приехали в Ленинград. Остановились у брата Мандельштама, Евгения Эмильевича, на Васильевском острове. Хлопотали о квартире, но в писательской организации было сказано, что в Ленинграде им жить не разрешат. Причин не объясняли, но перемена атмосферы уже чувствовалась во всем. Именно тогда были написаны стихи «Куда как страшно нам с тобой», «Я вернулся в мой город», «Помоги, Господь, эту ночь прожить», «Мы с тобой на кухне посидим». Впервые он оказался чужим в своем городе.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

¹ «Современные записки». Париж, 1925, № 25, с. 541.

В январе 1931 года Мандельштамы уехали в Москву:

В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет — считай: насильно
Был возвращен в буддийскую Москву.
А перед тем я все-таки увидел
Библейской скатертью богатый Арарат
И двести дней провел в стране субботней,
Которую Арменией зовут.

Первая же вещь, написанная после отъезда, посвящена родному городу, который еще не раз будет появляться в стихах:

Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?

В Москве Мандельштам много пишет. Кроме стихов, он работает над большим эссе «Разговор о Данте». Но печататься становится практически невозможно. За публикацию последней части «Путешествий в Армению» в ленинградской «Звезде» был снят редактор Цезарь Вольпе.

В 1933 году Мандельштам побывал в Ленинграде, где были устроены два его вечера. Ахматова пишет об этом в своих воспоминаниях: «В Ленинграде его встречали как великого поэта, persona grata, и к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград (Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский), и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет».

Мандельштам раньше многих почувствовал истинную суть происходящих в стране перемен. Еще в стихотворении «1 января 1924 года» он писал:

Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного — оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

В 1933 году он побывал в Крыму, видел задуманную голодом Украину.

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани...
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца...

Осенью того же года он пишет: «Мы живем, под собою не чуя страны». Последние два стихотворения, а также «За гремучую доблесть грядущих веков» (1931 г.) послужили, по-видимому, непосредственным поводом для ареста Мандельштама 13 мая 1934 года. Приговор — три года ссылки. Под конвоем его отправляют в Чердынь на Каме. После хлопот Ахматовой и Пастернака Чердынь заменяется Воронежем. Несмотря на слабое здоровье, после Лубянки, при отсутствии денег и работы, при самом неопределенном будущем Мандельштам сочиняет непрерывно. Об этих стихах Ахматова скажет, что «Мандельштам и в годы воронежской ссылки продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи».

Я обращался к воздуху — слуге,
Ждал от него услуги или весте,
И собирался в путь, и плавал по дуге
Неначинающихся путешествий...

«Вооруженный зрением узких ос», он вспоминает Италию и Францию, Крым и Грузию, и, конечно, свой единственный город:

Нынче день какой-то желторотый —
Не могу его понять, —
И глядят приморские ворота
В якорях, в туманах на меня.

Тихий, тихий по воде линиялой
Ход военных кораблей,
И каналов узкие пеналы
Подо льдом еще черней.

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.

Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами,
Видит ночью ряд колод,
Днем казавшихся домами,

Или тень баклуши бьет
И позевывает с вами,
Иль шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,

И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей...

В Воронеже Мандельштама навестила Ахматова. Под впечатлением этой поездки она написала «А город весь стоит оледенелый»:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и муза, в свой черед,
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

После ссылки Мандельштамам жить в Москве и Ленинграде было запрещено. Они скитались вблизи Москвы, жили одно время в Калининне. Осенью 1937 года Осип Эмильевич с Надеждой Яковлевной приезжали на два дня в Ленинград. Остановивались у поэта В. Стенича. В маленькой квартирке Стенича Мандельштам виделся с Ахматовой. Возможно, именно там она показала ему свое стихотворение «Немного географии» («Не

столицею европейской»), в котором он «принял (справедливо) последний стих» о Ленинграде на свой счет:

Он, воспетый первым поэтом,
Нами грешными и тобой.

Второй и последний раз его арестовали в мае 1938 года. В официальном извещении было сказано, что он умер 27 декабря того же года в лагере под Владивостоком.

* * *

В конце нашего века, когда мы остро чувствуем, как спрессовалось время и вплотную приблизились годы революции, мы слышим несущийся оттуда чистый голос. В смутном двадцать первом году, во времена голода и террора, когда, казалось, кончилась история, на пожарище апокалипсиса прозвучали эти слова надежды

Люблю под сводами седья тишины
Молебнов, панихид блужданье
И трогательный чин — ему же все должны, —
У Исаака отпеванье.

Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы
И в ветхом неводе Генисаретский мрак
Великопостных седмицы.

Ветхозаветный дым на теплых алтарях
И иерея возглас сирий,
Смиренный царственный — снег чистый на плечах
И одичалые порфиры.

Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового Завета.

Не к вам влечется дух в години тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему ж вовеки не изменим:

Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.

Мандельштам сравнивал поэзию с письмом, брошенным в бутылке в океан. Полвека шла эта посылка через толщу времени, и сегодня его поэзия прорастает в нашей культуре возрождающимся духом гуманизма.

Петербургские адреса О. Э. Мандельштама
(*исторические и современные*)

- 1899—1900 Квартира Мандельштамов, Офицерская ул., 17 (ныне ул. Декабристов, 17)
- 1900—1907 Тенишевское училище, Моховая ул., 33—35
- 1900-е Квартира Б. Н. Синани, Пушкинская ул., 4
Квартира Б. Н. Синани, Пушкинская ул., 17
- 1901 Квартира Мандельштамов, Литейный пр., 49
- 1904—1905 Квартира Мандельштамов, Литейный пр., 15
- 1907 Квартира Мандельштамов, Ивановская ул., 22 (ныне Социалистическая ул., 22)
Квартира В. В. Гиппиуса, Спасская ул., 26/42 (ныне ул. Рылеева, 26/42)
- 1908 Квартира Мандельштамов, Сергиевская ул., 60 (ныне ул. Чайковского, 60)
Квартира В. В. Гиппиуса, Спасская ул., 47 (ныне ул. Рылеева, 47)
- 1909 Квартира Вяч. Иванова («Башня»), Таврическая ул., 25 (ныне Таврическая ул., 35)
- 1909 Редакция журнала «Аполлон», Мойка, 24
- 1910—1912 Квартира Мандельштамов, Загородный, 70
- 1910-е Квартира С. П. Каблукова, Эртелев пер., 11 (ныне ул. Чехова, 11)
- 1913—1915 Кабаре «Бродячая Собака», Михайловская пл., 5 (ныне пл. Искусств)
- 1913 Квартира Мандельштамов, Загородный пр., 14
- 1914 Квартира Мандельштамов, Ивановская ул., 16 (ныне Социалистическая ул., 16)
- 1914 Квартира Гумилева и Ахматовой, В. О., Тучков пер., 17
- 1915 Квартира О. Э. Мандельштама, Малая Монетная ул., 15 (ныне ул. Скороходова, 15)
- 1920/21 Дом искусств, Мойка, 59
Клуб поэтов (Дом Мурузи), Литейный пр., 24
- 1930—1931 Квартира Е. Э. Мандельштама, В. О., 8 линия, 31
- 1937 Квартира В. Стенича, канал Грибоедова, 9
- 1910-е Места собраний Религиозно-философского общества:
Общественно-юридические курсы, Гагаринская ул., 16 (ныне ул. Фурманова, 16)
Польское общество любителей изящных искусств, Фонтанка, 83
Петровское училище, Фонтанка, 62



*На 2 странице обложки — О. Э. Мандельштам.
Силуэт работы Е. Кругликовой*

На фронтисписе — О. Э. Мандельштам. 1910 год

На 3 странице обложки — трамвай на Неве

*На 4 странице обложки —
афиша вечера петербургских поэтов. 1918 год*

ЛЕНИНГРАД

ВЕСЬ
НА ЛАДОНИ

О-во АРЗАМАС
(первое собрание)

ВЕЧЕР ПЕТЕРБУРГСКИХ ПОЭТОВ

13 мая 1918 года.

I

Пролог Арзамаса (соч. Георгия Адамовича) О. А. ГЛЕБОВА-СУДЕЙКИНА.
В. ПЯСТ
АННА РАДЛОВА
ЮРИК ИВНЕВ
„Двенадцать“. поэма А. Блока—Л. Д. БАСАРГИНА-БЛОК

II

Стихи Пушкина—О. А. ГЛЕБОВА-СУДЕЙКИНА
АРТУР ЛУРЬЕ
Стихи Ин. Анненского, О. А. ГЛЕБОВА-СУДЕЙКИНА

III

А. БЛОК
О. МАНДЕЛЬШТАМ
ГЕОРГИЙ ИВАНОВ
ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ
М. КУЗМИН
Н. ГУМИЛЕВ

Книгоиздательство АРЗАМАС

Вспомогательные издания

Платон. Пир. Пер. Сергея Радлова. Ла-Брюйер. О сериале. Фрагмент Омар Кайям. 99 рубайт. Пер. Ильи Средника. „Старые арзамасцы“. Сборник. Кн. П. А. Вяземский. Избранные стихи. Георгий Адамович. Велера. Стихи. Георгий Иванов. Розан. Стихи. О. Мандельштам. Статьи.

тел. 7. Ленинград, Мещин, 41.

Издание подготовлено товариществом «Свеча» при
ТПО «Грифон» Ленинградского отделения Советского фонда культуры
и выпущено в свет МП «Зимний сад».

Сдано в набор 12.12.90. Подписано к печати 11.03.91. Бумага офсетная № 1.
Тираж 100 000 экз. Печ. л. 3. Заказ 6108. Цена 3 руб.

Отпечатано с готовых диапозитивов Ленинградской фабрикой офсетной печати № 1 дважды
ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского производственного объединения «Типогра-
фия им. Ивана Федорова» Государственного комитета СССР по печати. 197101, Ленинград, ул.
Мира, 3.